



Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)

31

№76
(1714)29
апреля
2005

РОМАН И ГАЗЕТА

НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Глава девятая

ИНСТИНКТ
СОВЕСТИ

Друг мой, Гулька

У всех членов нашей семьи время от времени возникали прожекты, как наиболее достижимым способом прокормиться. Однажды мама ходила зачем-то за двадцать пять километров в районное село Хворостянка и по пути подобрала маленького, еще совсем лысого, как будто обшипанного, гусенка. Мать была уверена, что он женского пола, и, когда вырастет, будет нести нам большие гусиные яйца. Будущую гусыню назвали Гулькой и стали ждать, когда она вырастет. А она выросла и оказалась гусаком.

Как надо поступать с гусаками, все знают. Но мы его резать не стали, поскольку он уже стал членом нашей семьи, а мне больше, чем другом. Скорее младшим братом, которого мне в детстве очень не хватало. Когда отец сидел в тюрьме, я, не понимая нереальности своего желания, постоянно просил маму родить мне братика.

Мы были с Гулькой неразлучны. Когда я куда-нибудь шел, он ковылял рядом со мной. Когда я сидел, он неуклюже забирался ко мне на колени, на плечи, на голову, гоготал и терся головой о мое ухо. Разумеется, его тянуло к воде, и я все-таки пару раз ходил с ним на пруд, но не на тот берег, где мужики били утят. Мы с ним плавали рядом, и он смотрел на меня снисходительно, видя, как неловко я это делаю. Мне эти наши заплывы не доставляли большого удовольствия: я боялся, что мужики с другого берега прибегут с палками и забьют Гульку, а я не смогу его защитить. Страх был, конечно, излишний – утят мужики били, потому что те были дикие и ничьи.

Вскоре наши купанья и мои тревожные прекартисы, потому что отца перевели работать на Второе отделение, где никакой открытой воды не было, не считая лужи у колодца с «журавлем». Туда совхозные гуси ходили большими стадами и иногда летали. И даже очень неплохо. Иной раз идут-идут, и вдруг как по команде подхватятся и на небольшой высоте с криком летят через всю деревню. Обычно они паслись где-то за деревней, но потом их пригоняли к колодцу на водопой. Появление их Гульку всегда волновало. Бывало, Гулька увидит гусиное стадо и бежит к нему. Прибьется сбоку, идет вместе со всеми, гогочет, делает вид, что свой. Но стоило мне позвать: «Гуля, Гуля, Гуля!», он с криком, хлопая крыльями, спотыкаясь, несется ко мне.

Я любил его, наверное, не меньше, чем любого близкого человека, ну и он меня любил, я думаю, побольше, чем любого гуся. И даже гусыни. Кстати, вообще не помню, проявил ли он себя хоть однажды как гусиный самец.

Рука на мышь не поднялась

Если на хуторе Северо-Восточном нас изводили вши, то в селе Зелененьком одолевали мыши. Они пожирали все наши и без того скудные припасы и чем дальше, тем больше нагнали.

Однажды, увидев мышь, я разозлился, схватил палку, загнал мышь в угол и занес палку над ней. Ей деваться было некуда, она стала на задние лапки... и рука моя не опустилась. Я не умом в тот миг пожалел мышь и не сердцем, а (невольный каламбур) мышцами. Просто рука мне не подчинилась.

Это заставило меня задуматься: а что же за сила не дала моей руке опуститься? Меня ведь никто не учил, что мышь нельзя убивать (даже отец мой тогда еще к животнoлюбивым идеям своим еще не пришел). Библию я до тех пор не читал, если не считать пересказов отдельных ее историй бабушкой, а если б и читал, то понял бы, что заповедь «не убий» к мелким грызунам вряд ли относится. Значит, это у меня шло не от знания и не от воспитания, а от заложенных в меня чувств, или, говоря по-научному, инстинктов.

С тех пор стал уважительно относиться к инстинктам. Ко всем, начиная с инстинктов са-



ГЕННАДИЙ НОВОСЛОВ

мосохранения и продолжения рода. Я часто слышал слова «низменные инстинкты», но в какой-то момент понял, что никаких низменных инстинктов не бывает. Инстинкт предупреждает: не делай этого, а то проиграешь, не водись с этим человеком, он тебя подведет. Инстинкт, если хотите знать, намного добрее ума и даже умнее ума. Инстинкт самосохранения нужен человеку для самосохранения. Инстинкт продолжения рода для продолжения рода. Разве это не мудро?.. Но есть еще инстинкт... чего?.. Наверное, совести, который более убедительно, чем даже Библия, убеждает человека: «Не убий!» И не существует в человеке инстинкта, который говорил бы обратное.

Но человек животное мыслящее, он зову мудрого инстинкта не верит и заставляет себя через него переступить. А когда переступит, тогда уже чем дальше, тем больше может себе позволить. Но когда-нибудь, рано или поздно, жизнь докажет ему, что зря он не внял своему инстинкту.

Умные люди

К зиме нас переселили из школы в другой дом, где мы делили одну большую комнату с учительницей вторых и четвертых классов Марьей Ивановной Шараховой, ее матерью Еленой Петровной и трехлетним сыном Вадиком. Зима была суровая, убогая далеко. По нужде ходили в ведро, стоявшее в узком тамбуре между двумя дверьми. Поначалу жили мирно. Мама с Марьей Ивановной занимались общим хозяйством, носили воду, ходили в лес, валили небольшие деревья, втащивали их во двор и там на козлах пилили. Иногда и меня к этому привлекали. Мама моя была маленькая, чуть выше полутора метров, но ловкая. Когда-то в молодости она работала в Архангельской области на лесозаготовках, а теперь учила Марью Ивановну и меня, что пилу надо держать ровно, тянуть на себя не резко, не давить и не толкать, когда тянет напарник. Мне казалось, что ей даже нравилось, что она такая вот маленькая, а хватает и сил, и умения и пилить деревья, и колоть дрова, да еще и учить других.

Зимой приехал на побывку выбравшийся как-то образом из осажденного Ленинграда муж Марьи Ивановны, старший лейтенант. Он

развязал «сидор», вещмешок, и оттуда посыпались консервы, кусок сала, два круга колбасы, сухари, пряники, карамельки, что-то еще. Вечером Шараховы устроили ужин и нас пригласили. Оглядывая богатый стол, мама сказала:

– А я слышала, что в Ленинграде ужасный голод.

– Умные люди, – заметил Шарахов, нарезая колбасу, – везде жить умеют.

Мама отодвинула тарелку и сказала:

– Спасибо. Было очень вкусно...

С того ужина в отношениях между мамой и Шараховыми наметилась трещина, которая вскоре переросла в ссоры и скандалы по всякому поводу. То спорили, кому в какой очередности мыть пол, то не могли поделить у плиты две конфорки, то проводили посреди комнаты условную границу, через которую противоположной стороне переступать воспрещалось. Иногда мама и Шарахова даже пытались между собой не разговаривать, но это не всегда получалось. Бывало, мама говорила:

– Вы залили плитку вашим супом. Могли хотя бы ее протереть.

– Кому мешает, тот пусть и протрет, – отвечала Шарахова.

– Не кому мешает, а тот, кто устроил это безобразие. И горшок после ребенка надо сразу выносить, он воняет.

– Сама воняешь.

– Тьфу, дура! – плевалась мама.

– А ты жидовская морда! – неслось в ответ.

Тем разговор и заканчивался.

Островский писал не только лучше, но и быстрее меня

Я уже рассказывал о том, что рано полюбил чтение и читал все подряд. В Зелененьком была неплохая библиотека, и в ней попались мне пьесы Александра Николаевича Островского. Я взял их с некоторым сомнением, но сразу же зачитался, а дочитав первую пьесу, не помню теперь какую, понял, что в литературе мне больше всего нравится прямая речь. Описания природы или внешности героев, какие у кого были глаза, волосы или уши, меня совершенно не интересовали, я это часто в прозе пропускал, перескакивая сразу к строкам, начинающимся со знака «тире». По-

Увидев мышь, я разозлился, схватил палку, загнал мышь в угол и занес палку над ней. Ей деваться было некуда, она стала на задние лапки...

и рука моя не опустилась. Я не умом в тот миг пожалел мышь и не сердцем, а (невольный каламбур) мышцами... Заповедь «не убий» к мелким грызунам вряд ли относится. Значит, это у меня шло не от знания и не от воспитания...

С тех пор я стал уважительно относиться к инстинктам

этому после Островского я читал исключительно пьесы, все, которые мне попадались, включая Гоголя, Шекспира и Шиллера. Но пьесы Островского мне понравились особенно тем, что я как-то очень ясно себе представлял все в них написанное. Хотя я и знал (в этом уверяла меня бабушка), что писатели все выдумывают из своей головы, но поверить в то, что и разговоры Островским придуманы, я не мог. И решил попробовать себя в жанре драматургии. Как раз тогда, к моему удовольствию, между мамой и Шараховой возник очередной скандал, и их разговор сохранил очень сильные выражения. Я схватил старую, не до конца заполненную тетрадь и стал записывать слово в слово, что слышал. Но никак за мамой и Шараховой не поспевал и в конце концов бросил это занятие с убеждением, что Александр Николаевич Островский умел не только лучше меня писать, но, главное, быстрее записывать.

«Чтоб ты сдох, проклятый!»

Расставшись с семьей Шкляревских, я ужасно скучал по тете Ане, Вите и бабушке, а к собственным родителям привыкнуть не мог. Общение с теткой было мне интереснее, чем с матерью. Тетка считала меня способным и умным ребенком, говорила со мной, как со взрослым, уважительно. Мама же о моих способностях была невысокого мнения: «Многие родители думают, что их ребенок какой-то необыкновенный, и этим только портят его. А я знаю, что в моем сыне ничего особенного нет». Это развило во мне комплекс неполноценности и представление о своей полной никчемности, и, берясь за какое-то дело, я его оставлял, думая, что я не смогу, у меня не получится.

За всякие мелкие провинности мама меня ругала, а когда особенно сильно сердилась, могла сказать: «Чтоб ты сдох, проклятый!» Вообще подобные пожелания она часто адресовала отдельным людям, а часто и целой группе людей (иногда это были руководители партии и правительства): «Чтоб они все повздыхались!» Сама она к своим проклятиям серьезно не относилась, и много лет спустя любила со смехом рассказывать, как я в детстве отвечал ей тем же. Вспоминала, как я ей в трехлетнем возрасте сказал: «У, мама, сёты мамы соб ты доха!» Что в переводе означало: «У, мама, к чертовой матери, чтоб ты сдохла!» Так же несерьезно относилась мама и к побоям, которым часто меня подвергала. Чуть что начинала драться. Причем не шлепала, а пускала в ход кулаки. Кулаки у нее были маленькие, тыкала она ими не в лицо, а в грудь, физической боли мне не причиняла, но я плакал, чувствуя себя оскорбленным. При этом я всегда сравнивал мать с тетей Аней, которая меня не только не била, но и голоса никогда не повышала. Она вообще считала битье детей преступлением. Наверное, благодаря тете Ане и я на своих детей никогда руку не поднимал... Эмигрировав в Германию, я, среди прочего, очень удивлялся тому, что избивание детей там уголовно наказуемо.

Продолжение следует